

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	9
Анатомичка	10
Аппендицит	14
Баран	20
Боль	24
Больница	28
Врачебная ошибка	33
Вскрытие	38
Выгорание	43
Дежурная ночь	49
Дренажи	53
Дусёк	57
Женские палаты	60
Жены больных	64
Живот	68
Жизнь хирурга	72
Зарплата	77
Игла	81
Инструменты	85
Истории болезни	89

Каменная хирургия.....	93
Каталка.....	99
Кровотечение.....	103
Литотрипсия.....	107
Лихорадка.....	112
Лягушка.....	115
Медсестры.....	119
Мужские палаты.....	123
Наставники.....	127
Ноги.....	134
Операционный блок.....	138
Операция.....	143
Осложнения.....	147
Переливание крови.....	150
Пищевлок.....	155
Планерка.....	159
После дежурства.....	163
Приемный покой.....	168
Разрез.....	172
Реанимация.....	175
Рентген.....	180
Руки.....	184
Сандалии.....	188
Санитарки.....	192
Скальпель.....	195

Сны хирурга.....	198
Спина	202
Спирт.....	207
Суета.....	210
Тело.....	214
Узел	218
Утро больницы.....	222
Халат.....	226
Черная лестница.....	229
Шов	233
Шприц	236
Экзамены.....	240
Эндоскопия	245
Эпикриз.....	249
Юность в больнице.....	253
Я.....	256

ПРЕДИСЛОВИЕ

Что остается от жизни людей и от целого мира? В конце концов, только слова — замыкая тот замысел, каким открывается Евангелие от Иоанна. А где им, словам, живетесь лучше всего? Думаю, что в словаре. Это их улей, их родовое гнездо, откуда они разлетаются в мир, словно пчелы за взятком.

Может, поэтому я так люблю словари. И читателю, и писателю они предлагают так много свободы и воздуха, что дышать в их пространстве мне легче всего. С одной стороны — объективная строгость, почти инвентарная опись того, что содержится в мире; с другой же — свобода джазового музыканта, который импровизирует в рамках заданного ритмического квадрата. А свобода — она и возможна лишь в строгих границах, откуда не выпадешь ни в пустоту празднословия, ни во тьму немоты.

Итак, вот очередной* мой словарь. И даже если читатель пробежит глазами одни лишь названия глав — а именно так порой и просматривают словари, — мне и этого будет достаточно: я буду знать, что еще один гость побывал в моем мире, моем словаре, моей жизни, «Моей хирουργии»...

* Другие произведения-словари автора: Убогий А. Ю. Пиры // Наш современник. 2017. №2–3; Убогий А. Словарь исчезнувших вещей. — Калуга: СерНа, 2018. — *Прим. ред.*

АНАТОМИЧКА



Для всех докторов начало их пути в медицине связано с анатомичкой. Когда я впервые вошел в ее двери, мне еще не было и семнадцати. Это случилось в Смоленске — там, на окраине студенческого городка, высилось трехэтажное здание, чьи окна как-то особенно едко и воспаленно светились то в утренних сумерках, то в вечерней густеющей мгле. Почему-то именно сумерки — и одиночество — окружали меня в те начальные годы, когда я только знакомился с медициной.

Вот и учиться туда вечерами я чаще ходил в одиночку, не желая ни с кем делить чувств, что возникают при встрече с особенным миром анатомички. Не сказать чтобы нам, первокурсникам, было очень уж страшно видеть трупы, распотрошенные руками преподавателей и студентов; но все же любой, кто оказывался в этих стенах, не мог не волноваться. Уже сам формалиновый запах, царивший в анатомичке, как

бы предупреждал: здесь особенный, со своими законами, мир. А уж когда мы спускались в подвал, где нам выдавали «препараты» — останки разъятых на органы тел, то едкие формалиновые испарения, случалось, выжимали из наших глаз и настоящие слезы. Не оттого ли всегда так болезненно и возбужденно блестели глаза у посетителей анатомички?

Когда мы, с «препаратом» на жирном подносе и с толстым учебником, поднимались по лестнице на один из трех этажей, нас встречали суровые лица отцов-основателей медицинской науки. Везалий, да Винчи, Авиценна, Гарвей смотрели на нас недовольно и хмуро: им словно не нравилось наше вторжение в их неподвижный, проформалиненный мир. А помимо портретов великих анатомов нас встречало еще одно живописное произведение: репродукция картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». На ней был изображен доктор в шляпе и средневековом камзоле, который, указывая на разрезанное предплечье бледного трупа, разъяснял ученикам хитросплетения сухожилий.

Вот чем-то подобным вслед доктору Тульпу и его ученикам занимались в анатомичке и мы. Только нашим проводником в дебрях мертвого тела был не доктор в камзоле, а учебник под редакцией Привеса: громадный том *in folio*, в котором латыни содержалось намного больше, чем могли вместить наши бедные головы. Так мы и ныряли из одной бездны в другую: то погружаясь в средневековые, вечные дебри латыни — то теребя сухожилия трупа, лежавшего перед нами на грубом бетонном столе. Правда, иногда вместо трупа (мертвых тел всем живым не хватало) перед тобой мог лежать «препарат». Серые полушария мозга, напоминавшие большой грецкий орех, или груда кишок

на брыжейке, или почка, разрезанная пополам, — какой-нибудь, словом, из органов, навсегда разлучившийся с телом, где он некогда жил.

И долго — порою часами — длилось твое одинокое странствие по полостям и пространствам нетленного тела, жирно блестящего в лучах лампы и пропахшего формалином. Это были, возможно, самые удивительные путешествия из всех, что я совершал когда-либо. Тот ссохшийся труп, что лежал пред тобой, запрокинув лоснящийся кожистый череп и бессмысленно глядя запавшими глазницами в гладь потолка, — он вдруг начинал представляться огромным и вытеснявшим из мира все прочее, кроме себя самого. В нем все было настолько загадочно, сложно — эти все сухожилия, фасции, нервы, сосуды, — что, казалось, и жизни не хватит на то, чтоб узнать и запомнить это множество разнообразных частей, из которых составлено тело.

А для тебя, новичка-первокурсника, эти части были еще так похожи, что ты поначалу не мог отличить артерий от вен, сухожилий от нервов, — поэтому непостижимая сложность того, что лежало перед тобой на столе, возрастала стократ, и ты уж почти был готов с позором бежать из анатомички.

Но что-то удерживало тебя, и ты не убежал. Ты упорно, пинцетом или прямо пальцами, перебирал пучки размочаленных мышц и лоскуты бурой кожи и напряженно бубнил про себя, стараясь запомнить все эти *dexter, sinister, vestibulum* или *hiatus*. Ты словно брел, спотыкаясь и падая, но поднимаясь и снова нетвердо шагая, — куда-то все глубже в те тайные дебри, какими является тело любого из нас. И ты будто что-то искал внутри этого тела. Но только сейчас,

спустя сорок лет, я догадался, что же именно я разыскивал внутри проформалиненных тел, распластанных на бетонных столах. Я искал там ни много ни мало — саму смерть. Ведь где, как не здесь, в царстве мертвых, и было возможно увидеть, потрогать, почувствовать ее, смерти, тайну — где, как не здесь, можно было взглянуть ей в лицо?

А всего поразительней то, что, чем более я погружался внутрь мертвого тела, чем усерднее — как заклинание — бормотал колдовскую латынь, тем все более чувствовал: смерти здесь нет. Ее нет ни вот в этой ссохшейся мумии, ни в огромном учебнике Привеса, который, служа проводником в мире мертвых, все ж неизбежно выводит обратно к живым, — ее нет ни в чем из того, что меня окружает в анатомичке. Даже портреты великих анатомов, что прежде казались суровы, — они начинали как будто с усмешкой смотреть на тебя. «Послушай, приятель, — словно говорили они, — похоже, ты ищешь пустое. Мы вот тоже когда-то искали, искали — но, как и ты, не нашли...»

Да, смерти здесь не было: это открытие оказалось важнейшим итогом посещений анатомички. А была только жизнь — и она была всюду. И в студенческом шепоте, шарканье ног, юном сдержанном смехе (в торце коридора, возле окна, обнимались студент со студенткой), и в шелесте этих мудреных страниц, захватанных множеством пальцев, и в ночных беспокойных огнях за окном, в гулах города, в завывании ветра, в ударах дождя по стеклу, в шуме крови в твоей голове, одуревшей от долгой зубрежки, — во всем была жизнь, только жизнь, ничего, кроме жизни.

АППЕНДИЦИТ



Как же мне было не полюбить хирургию, если с одной из первых операций, самостоятельно сделанных мной, связана целая романтическая история?

Летом после пятого курса я работал медбратом в хирургическом отделении клиники на Покровке. Двухэтажное здание имело солидный — хотя и изрядно обшарпанный — облик старинной губернской больницы: с гулкими коридорами и сводчатыми потолками, с большими окнами и парадной лестницей, ведущей из приемного отделения на второй этаж, в хирургию. По этой лестнице мы, студенты, нередко таскали носилки с больными — лифта в старом здании не было, — и этой же лестнице суждено было сыграть роль в истории, которую я хочу рассказать.

Была теплая летняя ночь — мохнатые бабочки залетали в открытые окна, — и к нам в отделение поступила красивая двадцатилетняя девушка с аппендицитом. Ее звали Ирина,

и ей, кареглазой, очень шло это имя. Но я в ту ночь был так озабочен работой медбрата, еще непривычной, и желанием оказаться на операции, что смотрел на Ирину лишь как на объект хирургического интереса. И с гораздо большим волнением, чем к этой девушке (уже переодетой в синий больничный халат), я подходил к дежурному доктору, добродушному толстяку — с просьбой, столь обыкновенной для парня-медика, мечтающего о хирургии.

— Николай Филиппович, — смущаясь от собственной дерзости, попросил я его. — А можно я сам эту девушку прооперирую?

Филиппыч, в ту пору уже пожилой и, конечно же, не любивший ночных операций, зевнул, потянулся и сказал басом:

— Ладно, валяй! Если что — позовешь...

Про таких, каким был я в те минуты, говорят «окрыленный». Не стану подробно описывать, как я переодевался и мылся и как, подняв мокрые и чуть дрожащие от волнения руки, входил в гулкий кафельный зал старинной операционной. Моя обнаженная пациентка уже лежала на узком столе под сияющей лампой и дышала больше грудью, чем животом: верный признак острой брюшной патологии. И хоть мысли мои были заняты предстоящей работой, я не мог не отметить, как хорошо она сложена; и я, помню, спешил обработать рыжим раствором йода ее вздрагивающий живот и поскорее накрыть девушку стерильными простынями — чтобы не отвлекаться ни на юную грудь, ни на побритый лобок, ни на бедра, прижатые к столу ремнем.

Ассистировал мне Николай, мой приятель и однокурсник, дежуривший этой ночью в соседнем отделении

гемодиализа. Кроме нас с ним да операционной сестры (ее, кстати, тоже звали Ириной, и ее восточные глаза всю операцию с интересом и легкой насмешкой наблюдали за мной) — ну и, разумеется, нашей испуганной пациентки, в операционной больше не было никого. Сейчас в это трудно поверить, но тогда аппендиксы нередко удаляли под местной анестезией: таковы были традиции русской хирургической школы.

Наша больная, кстати, за всю операцию даже не пикнула: то ли она была так терпелива, то ли у меня действительно получилась классическая инфльтрационная анестезия. А червеобразный отросток, багровый и напряженный, словно выпрыгнул к нам из раны, вместе с петлей подвздошной кишки: он будто ждал, когда я рассеку над ним блестящую пленку брюшины.

Но, когда я отсекал флегмонозный отросток, он лопнул — и немного гноя вылилось в рану. Обеспокоенные, мы позвали Филиппыча. Он заглянул через мое плечо, посопел, хмыкнул и пробасил:

— А, ерунда... Помой, посуши — все должно обойтись.

Конечно, я сделал, как он и сказал, — хотя на душе у меня скребли кошки. «А если, — думал я, — у этой девушки разовьется разлитой перитонит? Хорошее же у меня будет хирургическое начало...»

Понятно, что я завершал операцию как можно более тщательно, но сделанного было не воротить; хотя теперь-то я понимаю, что ничего страшного и в самом деле не произошло. Но тогда вместо радости от самостоятельно сделанной операции я испытывал только тревогу за эту кареглазую девушку — и, чего уж скрывать, за себя самого. Утром,

сменившись с дежурства, я чуть ли не за руку притащил к постели Ирины нашего преподавателя, ассистента хирургической кафедры. Тот посмотрел язык больной, пощупал ей пульс, помял живот — и пожал плечами:

— Не понимаю, чего ты волнуешься? Я здесь никакого перитонита не вижу.

Но успокоиться я не мог еще долго. Ирина пролежала в клинике ровно неделю; и первые два-три дня я множество раз не только сам приходил к своей пациентке, но время от времени притаскивал к ней кого-нибудь из отделенческих или кафедральных врачей. Все, разумеется, лишь пожимали плечами и даже посмеивались надо мной.

Сама же Ирина, которой день ото дня становилось все лучше, расценила мои посещения совершенно по-женски. Еще, видимо, и соседки по шестиместной палате подзуживали ее — смотри-ка, дескать, Ириш: а парень-то на тебя явно запал! — и девушка ожидала моих ежедневных визитов как свиданий. Когда я вновь и вновь присаживался к ней на кровать (согласитесь: это довольно интимное действие) и откидывал одеяло, Ирина, блестя карими вишнями глаз, сама обнажала свой юный живот, отдавая себя в мое полное распоряжение. Но меня тогда занимала лишь грубая проза — вроде отхождения газов или защитного напряжения мышц, — и я куда более пристально глядел на повязку в правой подвздошной области, чем в потемневшие, взволнованные глаза Ирины. В общем, я видел в девушке лишь пациентку — в чем, кстати, свято следовал Гиппократовой клятве, запрещавшей врачу относиться к больным женщинам как-то иначе.

Затем Ирину благополучно выписали, и у меня с души упал камень. Закрутилась прежняя студенческая жизнь, с учебой, дежурствами и операциями — и я уже почти забыл Ирину и ее злополучный аппендикс.

Но через несколько дней — я как раз снова дежурил — моя напарница-медсестра сказала:

— Андрей, выйди на лестницу — там тебя спрашивают.

Сбежав по скользким ступеням, я повернул на центральный марш лестницы — и чуть не упал: вниз, в холле, стояла красавица в красном платье. Я, признаться, не сразу ее и узнал — тем более что лицо девушки наполовину скрывал букет алых роз. Спустившись к Ирине — это была, конечно, она, — я смущенно пробормотал: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Красавица, впрочем, была смущена не менее моего. Передав мне огромный букет — помню влажные листья и то, как кололись шипы, — Ирина, запнувшись, проговорила:

— Доктор, а вы по сердечным болезням не специалист?

Какое ж еще признание, спросите вы, мне было нужно? Но я вдруг настолько отчетливо вспомнил недавние переживания и тревоги, связанные с Ириной, что это вытеснило во мне естественный мужской интерес к юной красавице. Можно сказать, что в тот миг в моей душе доктор-хирург оказался сильнее мужчины. Не помню точно, что я ответил Ирине, — но это было нечто такое, отчего девушка грустно вздохнула и зашагала прочь... А я-то, дурак, еще подумал: «Вот он, значит, каков, хирургический путь! Он усыпан цветами — и женщинами; и уж если сейчас, в самом начале, ко мне приходят такие красавицы, то что же

начнется потом?» До чего же наивны бываем мы в юности! Мы полагаем, что все хорошее, чем одаряет нас жизнь, еще повторится множество раз: мы не ценим того, что у нас уже есть, — и стремимся куда-то в обманную даль, которая все удаляется, тает и меркнет по мере нашего к ней приближения. А потом, уже в старости, когда впереди почти ничего не осталось, обращаем свой взгляд назад, в прошлое, — вспоминая, среди прочих даров минувшего, кареглазую девушку с сияющим взглядом и то, как ты осторожно пальпировал ее упругий, вздрагивающий живот...

БАРАН



Еще вспоминается ясное майское утро — и то, как я, студент-пятикурсник, везу на каталке в морг тяжелое мертвое тело. Мы оба в белом: я в халате, а покойный — под простыней, из-под которой желтеет ступня с клеенчатой красной биркой. Отвезти тело в морг — последнее, что осталось мне сделать после ночного дежурства; а поскольку морг в клинике на Покровке располагался аж за инфекционным корпусом, каталка долго стучала колесами по асфальту, а затем хрустела по гравию. Управлять ею было непросто: пожалев пожилую сестру-напарницу, я взялся все сделать один — и каталка то заезжала в лужи, то шла юзом и ударялась колесами о бордюры. Я уж боялся, что мертвый, не ровен час, с нее соскользнет.

Но худо-бедно мы двигались. А утро было таким ярким и свежим, каким оно может быть только в мае, да еще когда тебе самому двадцать лет. Влажная зелень сверкала в лучах

еще низкого солнца, на небесную синь было больно смотреть, а неугомонные соловьи высвистывали в ближайшем овраге свои сочно-упругие трели. Конечно, я думал о том, что обидно и глупо быть мертвым в такое прекрасное утро. И как все молодые, я был уверен, что уж со мной-то подобной глупости не случится: я, если когда-нибудь и умру (что еще, разумеется, было под очень большим вопросом), то уж, по крайней-то мере, в такую собачью погоду, с которой не жалко расстаться.

Я нажимал на резиновые рукоятки носилок, каталка скрипела, ее колеса визжали, покойник, стуча головой, ерзал назад и вперед: картина была, скорей, грустная. Но я был, сказать откровенно, счастлив. И молодость, и чудесное утро, и воспоминания честно отработанной ночи — мне удалось помыться* на прободную язву и на кишечную непроходимость, — и, главное, чувство, что мне открывается необозримый мир хирургии, единственный мир, достойный мужчины, — все это, взятое вместе, наполняло меня такой радостью и благодарностью к жизни, что в этих ликующих чувствах растворялось даже сознание того, что я везу на каталке смерть. Она, смерть, словно таяла в остром чувстве радости существования — как и мертвое тело под простыней вдруг почти растворялось в лучах ослепительно бьющего солнца.

На газоне перед инфекционным корпусом пожилой пациент в полосатой пижаме делал зарядку. Он медленно приседал, вытягивая руки вперед, а потом неуклюже вставал.

* Помыться (жарг.) — непосредственно участвовать в операции. — *Прим. авт.*

Я подумал: «Да неужели я тоже когда-нибудь стану таким неловким и старым, с круглым животиком под полосатой пижамой? Нет, до такого позора я точно не доживу...»

Пациента в пижаме тот груз, что я вез, напугал: мужчина замер и полным ужаса взглядом провожал каталку. Мне захотелось крикнуть ему что-нибудь ободряющее, но ничего, кроме слов: «Все там будем!» — не приходило в голову, и я промолчал.

На зеленой лужайке у морга щипал травку привязанный на веревке баран. Он был стар, худ и давно не стрижен: серая шерсть свалялась клоками. Пару раз я его видел и раньше, но все забывал спросить: что этот баран здесь делает? Ни на шерсть, ни на мясо он явно не годился. Нас баран тоже заметил, перестал щипать траву и вытаращился тупо и оцепенело: вот именно как на новые ворота.

А когда я с каталкой приблизился, баран судорожно дернулся — и упал набок. «Что за чертовщина? — подумал я. — Он что, тоже мертвых боится?»

Но мне было не до того, чтобы возиться с упавшим бараном и оказывать ему медицинскую помощь: тем более что я не знал, как это делается. Мне надо было открыть обитую цинком дверь — амбарный замок взвизгнул, словно живой, — а потом закатить носилки с покойным внутрь и поставить их возле стола с желобками в холодном и пахнущем смертью сумраке морга.

Когда я, уже налегке, вышел наружу, баран, как ни в чем не бывало, пасся на ярко-зеленой траве среди желтых цветов одуванчиков. Я обошел его стороной, чтобы не испугать; но на этот раз он меня не заметил и не стал падать в обморок.

Вернувшись в свою хирургию, я спросил пожилую и все на свете знающую медсестру:

— Петровна, а что это там за баран пасется, возле инфекции?

— Какой баран? — переспросила она. — А, баран! Так его держат для эритроцитов.

— В смысле?

— Ну, делают же анализы с бараньими эритроцитами? Тебе лучше знать, ты почти доктор.

— Так он поэтому и людей в белых халатах боится? Думает, снова идут ему кровь пускать?

— Ну да, — засмеялась Петровна. — Как подойдешь к нему, так он сразу бряк в обморок! За ним и пастух числится, на полставки. У него, говорят, в трудовой книжке так и записано: «Пастух барана».

— Что-то я там пастуха не заметил...

— Так он, небось, снова в запое. Чего ж и не пить — при такой-то работе?

И Петровна, вздохнув, принялась крупным почерком переписывать назначения из историй болезни в процедурный лист: у нее работа явно была посложнее, чем у пастуха барана. А я, отправляясь на лекцию по хирургии, уж конечно, и думать не думал, что всю жизнь буду время от времени вспоминать то далекое майское утро — и барана, упавшего в обморок на зеленой лужайке.

Боль



Хочу сказать боли несколько слов благодарности. Известно, что ее, боли, задача — предупреждать нас об опасности или неполадках внутри нашего тела. Она вестовой и сторож одновременно; не будь ее, наш срок на земле был бы много короче.

А я признателен боли, которую мне довелось пережить, еще и за то просветление, что наступало, когда боль наконец утихала и я ощущал себя словно родившимся заново. Ведь цель нашей жизни и состоит в просветлении; как же не быть благодарным тому, что нас приближает к нему — пусть и таким жестким способом?

И вот сейчас я даже не знаю, что вспомнить: зубную ли боль, от которой ломит полголовы, — или боль в седалищном нерве, когда не можешь пошевелиться без того, чтобы тебя не прострелило от поясницы к стопе?

Конечно, любая достойна хвалебного слова; но я склонюсь все же к боли в спине. Тем более что эта боль напрямую связана с моей врачебной работой — и с долгим стоянием за операционным столом, и с ежедневным перетаскиванием тяжелых больных с носилок на койки или обратно. Главное свойство такой боли — внезапность. Обыкновенно она настигает где-нибудь на бегу, как гром среди ясного неба. Только что ты был бодр и куда-то спешил — и вдруг тебя как пригвоздило горячею молнией боли к тому месту, где она тебя поразила. Так и замираешь посреди коридора: вот так же, наверное, оцепенела и жена Лота, обратившаяся в соляной столп.

Последний раз, когда подобная боль пронзила меня, я рухнул на четвереньки и простоял на полу пять часов. Ни одеться (я только что встал с постели и собирался идти на работу), ни даже справиться нужду я не мог. Пока не приехал мой сын-хирург и не привез сильного обезболивающего, я так и стоял голый на четвереньках. Любая попытка пошевелиться вызывала такой приступ боли, что квартира оглашалась страдальческим стоном.

Конечно, это было несладко: ни себе самому, ни другому я не пожелал бы пережить это вновь. Но вот боль, словно вдоволь натешившись беспомощной жертвой, стала мало-помалу стихать. Видимо, помогло и лекарство, что мне уколол Дмитрий, и время, которое, как известно, есть лучший целитель. Я смог кое-как подняться, одеться и, опираясь на две лыжные палки, добрести до машины, потом заползти — опять-таки на четвереньках — на заднее сиденье, и сын повез меня к неврологам.

Удивительно действие лидокаиновой блокады. Вот ты, кряхтя, укладываешься на кушетку (а боль еще очень

сильна); вот тебя протирают спиртовой салфеткой (сколько раз ты и сам обрабатывал спиртом других и вдыхал его бодрый, решительный запах); вот ты вздрагиваешь от укола иглы (хотя он на фоне главной боли кажется комариным укусом) и затем чувствуешь тугое распирающее от нагнетаемого в тебя лекарства. И вдруг — тебе даже не верится — боль начинает стихать... Помню, сын, стоявший рядом во время блокады, сказал:

— Пап, я заметил, как у тебя *распустилось* лицо...

Да, за много часов мое лицо словно окаменело, сжавшись в комок напряженной гримасы, — и вдруг за считанные секунды на нем появилась блаженная и недоумевающая улыбка. Ты словно спрашивал: что это было? Что за сила швырнула тебя на четвереньки, превратив в совершенно беспомощное существо, — и куда теперь эта сила ушла? И насколько она отдалилась — не вернется ли через минутную другую обратно? А если вернется — то нужно успеть наслаждаться каждой секундой без боли, каждым вдохом и выдохом, что покамест ты можешь сделать свободно...

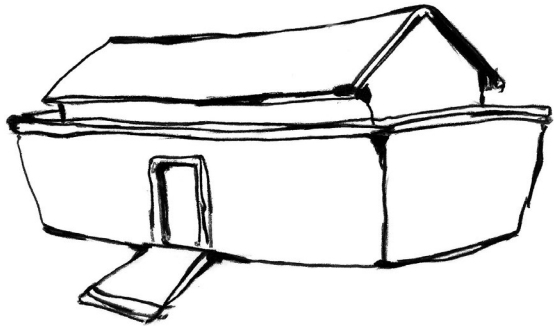
Я и наслаждался: за всю свою жизнь я припомню немного столь же блаженных минут, как те, когда я, улыбаясь, лежал на кушетке ничком, а высыхающий спирт все еще охлаждал мою спину.

Потом мне поставили капельницу, и я минут сорок с интересом разглядывал подвесной потолок над собой. Ничего особенного там не было — одни светло-серые плиты да скрещенья дюралевых планок, — но как же я ими любовался! Ни один пейзаж, ни один портрет, когда-либо рассмотренный мной, не вызывал более отрадного чувства, чем то, что наполняло меня при созерцании этого серого

и бесконечно спокойного потолка. Возможно, раненый князь Андрей под Аустерлицем, когда он, опрокинувшись навзничь, увидел над собой высокое серое небо, испытал нечто подобное: чувство покоя, приходящее в редкий миг просветления.

Вот и я чувствовал: все, что есть в мире, — прекрасно. И серые плиты вот этого потолка (я вспомнил, что он называется «Армстронг» — и по мгновенной ассоциации передо мной всплыло лоснящееся лицо музыканта и словно послышались тугие, медовые звуки трубы), и флакон капельницы, и часто падающие капли лекарства, и шаги медсестры у изголовья кушетки, и чудесный запах свежестиранной простыни; но главное, что было прекрасного в мире, — это то, что из него ушла боль. И пока она не вернулась, счастливей тебя нет человека на свете. И вовсе не нужно тебе ничего из того, чем люди обычно так дорожат и к чему так стремятся, — ни денег, ни славы, ни даже женской любви, — лишь бы тихо лежать на кушетке, ощущая, как сладок каждый твой выдох и вдох, и сознавая, насколько глубок и прекрасен каждый миг бытия...

Больница



Произнести слово «больница» для меня почти то же самое, что сказать: «Мир» или «Родина». То есть больница — нечто настолько огромное и всеобъемлющее, что воспоминания, мысли и чувства, связанные с ней, сопоставимы с впечатлениями чуть ли не всей моей жизни.

Так, больница меня в прямом смысле слова вскормила. Когда мама дежурила (а мои родители оба — врачи), я, шестилетний, приходил к ней в больницу — приемный покой располагался в ста метрах от нашего дома, — и мы вместе обедали. В те годы дежурный врач, прежде чем разрешить раздавать пищу больным, сам был обязан отведать и оценить то, что приготовили в пищеблоке. Иногда врач ходил к поварам, в их душное царство громадных кастрюль и жаровен; иногда же еду приносила ему санитарка.

Не забуду тех стопок из плоских кастрюль, перехваченных ручкой-скобою, в которых нам с мамой приносили

«первое-второе-третье»: то есть суп, котлеты с картошкой или макаронами и кисель или компот из сухофруктов. И вот оттого ли, что те впечатления были одними из первых, или оттого, что больничная пища и впрямь была так хороша, — но любовь к больничной еде сохранилась во мне на всю жизнь.

Мое детство проходило буквально на территории психиатрической больницы, меж ее корпусов и деревьев, в садах, окружавших ее, и на дорожках больничного парка, по которым то деловито шагали врачи и медсестры в белых халатах, то бродили больные в синих казенных пижамах. Для нас, детворы, этот мир — особенно летом — был истинным раем. Он был зелен и тих, полон птиц и цветов; да и в отрешенно-задумчивых лицах больных, что бродили по здешним аллеям, порой чудилось нечто ангельски-просветленное.

Но не только райские впечатления нам дарил мир больницы. Так, я впервые увидел здесь смерть.

Был стылый ноябрь; мы, дети, жгли костерок на задворках котельной. Вдруг кто-то крикнул:

— Пацаны, там больная повесилась — айда смотреть!

Мы побежали: суматошно, но как-то небыстро — сама жутковатая цель нашего бега словно притормаживала его. И что ж мы увидели за корпусами, меж голых осенних дубов? На заборе, ограждавшем больничную территорию, висел серый бесформенный куль, в первый миг даже не привлекавший внимания. Лишь вблизи можно было увидеть, что это человеческое тело, обвисшее на веревке и почти касавшееся коленями бурой опавшей листвы. Главное, что все это было обыденным, скучным, унылым:

непонятно, зачем мы так торопились сюда? Костер, оставленный нами, был куда интереснее; и мы, даже не досмотрев, как санитары снимают тело и кладут его на носилки, вернулись к огню.

С тех самых пор во мне так и осталось жить чувство унылой, бесцветной, обыденной серости смерти. И все попытки придать ей торжественность и высокопарность — поставить, так сказать, смерть на котурны — мне всегда представлялись надуманно-пошлыми. А больница с тех пор стала видаться много объемнее, глубже, сложнее: одновременно как рай и как ад, как место летних восторгов ликующей жизни — и место осенних, таких безнадежно-унылых смертей.

Но годы летели, я из мальчишки стал юношей, а затем медицинским студентом. Шесть лет, проведенных в Смоленске, также прошли в разнообразных больницах, где мы постигали премудрость врачебной науки. А когда я, уже молодым хирургом-стажером, вернулся в Калугу, то вся моя жизнь до теперешних дней оказалась связана не с психиатрической, а с хирургической больницей скорой помощи.

Рассказывать о ней — все равно что описывать целую, незнакомую прежде страну со своим населением, нравами и языком, со своими писаными и неписаными законами, преданиями и легендами, героями и злодеями, фольклором, полным забавных или леденящих душу историй, — со всем, словом, тем, что составляет народную жизнь и судьбу. И все глубже и глубже погружаясь в больничную жизнь, проводя в ней будни и праздники, ночи и дни, я все чаще думал о том, что наша больница — это Россия в миниатюре.

В городе не сыскать другого подобного места, где сошлось бы столько разных характеров и языков, профессий и судеб, людских страданий, надежд, боли и радости, сколько их сталкивается в стенах больницы скорой помощи.

Мало того: и история целой страны отразилась в больничной истории, словно в капле воды. Я застал еще годы застоя с их неторопливо-размеренной жизнью, со стенгазетами и концертами художественной самодеятельности, с осенними выездами в подшефный колхоз на картошку и с коммунистическими субботниками, завершавшимися непременно пикником где-нибудь на больничных задворках.

Потом, в 90-е годы прошлого века, когда ветер истории разметал сонную дрему застоя и казалось, страна вот-вот рассыплется в прах, нелегко приходилось и нашей больнице. Случалось, нам месяцами не выдавали зарплату и медики выживали, чем бог пошлет; как на войне, не хватало лекарств, бинтов, инструментов; все чаще к нам привозили не ущемленные грыжи и аппендициты, а ножевые или пулевые ранения, и слова «Это не городская больница, а медсанбат» все чаще и чаще звучали из уст как хирургов, так и их пациентов.

Исторические катаклизмы не обходятся без переселений народов, когда сотни тысяч людей бросают родные места, чтобы спасти и себя, и детей где-нибудь на чужбине. И едва ли не первой из тех, кто принимал и до сих пор принимает все эти миграционные волны, опять-таки была наша больница. С Кавказа, из Средней Азии, из Молдавии и Приднестровья — а вот теперь еще из Украины — приезжают

медсестры, врачи, пациенты, и наша больница, как и Россия, открыта для всех.

И, коль уж наш разговор о больнице принял такие масштабы, не могу не рассказать о поразительном совпадении, до сих пор вызывающем у меня что-то вроде священного трепета, — совпадении, выводящем нашу калужскую городскую больницу уже на библейскую высоту.

Лет пятнадцать назад я задумал писать о больнице роман. И название подобрал хоть и не оригинальное, но вполне подходящее: «Ковчег». Думаю, нет нужды разъяснять его смысл. Однажды — роман был только в замысле — я решил измерить большими шагами длину и ширину главного больничного корпуса: того, в котором и должно происходить действие будущего произведения. И вот я шагаю, шагаю — и прихожу в изумление. Оказывается, наш «ковчег скорой помощи» имеет сто пятьдесят метров в длину и двадцать пять в ширину; а если вы откроете Ветхий Завет, то узнаете, что ковчег Ноя имел в длину триста локтей, а в ширину пятьдесят — то есть точно такие же размеры, как у нашей больницы! Комментарии, как говорится, излишни. А тогда, закончив мистический этот обмер, я подумал: теперь, хоть умри, написать роман я обязан.

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА



Начать эту главу стоит мыслью Рене Лериша*, считавшего, что каждый хирург носит в душе собственное кладбище, куда время от времени удаляется помолиться. Правда, русский язык и русская жизнь несколько сократили и огрубили выражение французского доктора; у нас говорят: «У каждого хирурга есть свое кладбище».

Конечно, есть оно и у меня. А всего памятнее мне две смерти, которым я был невольной причиной и о которых хочу теперь рассказать. Они случились давно, более тридцати лет назад, в самом начале моего хирургического пути. Помню даже день — 11 июня, — когда я пошел оперировать гнойный пиелонефрит. А пациентка, пожилая добрая женщина, с которой произошло такое несчастье, годилась мне даже не то что в матери — в бабушки. И помню, как

* Французский хирург и физиолог (1879–1955). — *Прим. ред.*

она за час до операции с трудом подошла ко мне в коридоре и сказала:

— Милый доктор, не переживайте: все будет хорошо, — и вдруг добавила: — Позвольте, я вас обниму...

И мы с ней обнялись прямо посреди отделения: уж не знаю, как это выглядело со стороны.

Операция сразу пошла тяжело. Наше вмешательство на пораженной почке было далеко не первым, и все оказалось настолько запаяно грубыми рубцами, что пришлось их рассекать почти наугад, не видя границ между органами. К тому же воспаленные ткани обильно кровоточили, рана почти все время была влажной, и отсос гудел непрерывно. Хирурги поймут меня: очень сложно работать, когда, с одной стороны, нужно быть осторожным, а с другой — необходимо быстрее удалить закрывающий обзор орган, потому что иначе толком не разглядеть источник кровотечения.

С нас сошло семь потов — а больная потеряла более литра крови, — когда гнойную почку мы наконец убрали. И все было вроде неплохо: мы промыли и осушили рану, оставили, как и положено, в ней дренажи — и, когда рана была ушита, повернули больную на спину. И почти тут же по дренажным трубкам потекла кровь.

Мы повернули больную обратно на бок и стали снимать швы. Помылся заведующий. Но при ревизии раны мы ничего особенного не обнаружили: основные сосуды были надежно прошиты, и пока мы минут десять, напряженно пыхтя, во все глаза рассматривали и промокали тупферами ложе удаленной почки, рана оставалась сухой. Снова зашили рану, постояли, глядя на дренажи («Ну, что:

все нормально?» — «Да вроде нормально...»), — а затем перевезли пациентку из операционной в реанимацию.

И тут опять по дренажам потекла кровь. Бегом вернули больную в операционную, позвали сосудистого хирурга — и снова стали искать источник загадочного кровотечения.

Оказалось: когда я выделял из рубцов нижний полюс замурованной почки, я оторвал небольшую люмбальную вену, впадавшую в нижнюю полую, главную вену всего организма, со стороны позвоночника — так что, пока больная лежала боком на валике, поврежденная вена прижималась к позвонку, и никакого кровотечения не было. Когда же мы переворачивали пациентку на спину, по дренажам начинала течь кровь.

Разобраться-то мы разобрались и даже сумели ушить дефект нижней полрой — но пока все это происходило, пока мы то зашивали, то вновь открывали рану и возили больную туда-сюда, крови вытекло слишком много, и старушка погибла от геморрагического шока. Это была первая смерть, случившаяся по моей вине: ведь именно я, не заметив, оторвал злополучную люмбальную вену.

А всего через несколько месяцев произошло второе несчастье. Пациентом на этот раз оказался тучный старик, который несколько дней не мог помочиться и которому нужно было установить в мочевой пузырь дренажную трубку. Операция эта сама по себе несложная; но когда на часах половина третьего ночи и у тебя нет ассистента (все были заняты на другой операции), когда местная анестезия действует плохо, и старик кричит, ерзает, стонет и матерится и когда наплывающий толстый слой жира закрывает обзор — тогда и такое вмешательство превращается в пытку не только